

Сын / новелла

Category: Некаýалар, Китарсу
написано китарсу | 23 января, 2025
Сын / новелла СЫН

Рене Мезруа.

Два старых приятеля гуляли по расцветшему саду, где веселая весна пробуждала новую жизнь.

Один из них был сенатор, другой – член Французской академии, люди солидные, полные мудрых, но несколько торжественно излагаемых мыслей, люди заслуженные и известные.

Сначала они поболтали о политике, обмениваясь мыслями не об идеях, а о людях; ведь в этом вопросе на первом месте всегда стоят личности, а не разум. Затем они перебрали ряд воспоминаний и умолкли, продолжая идти рядом, размякнув от теплоты весеннего воздуха.

Большая клумба левкоев изливала сладкий и нежный запах; множество цветов всех видов и оттенков примешивали свое благоухание к легкому ветерку, а ракитник, покрытый желтыми гроздьями цветов, рассеивал по воздуху тонкую пыль – золотой дым, пахнувший медом и разносящий кругом, как ласкающую пудру парфюмера, свои благоуханные семена.

Сенатор остановился, вдохнул плодоносное летучее облако, взглянув на сиявшее, подобно солнцу, влюбленное дерево, чьи семена разлетались вокруг, и сказал:

– Подумать только, что эти еле приметные благоухающие пылинки послужат зачатками новой жизни на расстоянии сотен лье отсюда, пробудят трепет в волокнах и соках женских деревьев и произведут новые создания, рождающиеся из семени, подобно нам, смертным, которых, как и нас, всегда будут сменять другие, однородные существа!

Затем, остановившись перед сияющим ракитником, жизненосный аромат которого выделялся с каждым колебанием воздуха, г-н сенатор прибавил:

– Ах, друг мой, если бы вам пришлось сосчитать своих детей, вы

очутились бы в чертовском затруднении. А вот это существо рождает их легко, бросает без угрызений совести и нимало не заботится о них.

Академик заметил:

– Мы поступаем так же, мой друг.

Сенатор возразил:

– Да, не отрицаю, иногда мы бросаем их, но, по крайней мере, сознаем это, и в этом наше преимущество.

Но собеседник покачал головой:

– Нет, я не то хочу сказать; видите ли, дорогой мой, не найдется мужчины, у которого не было бы неведомых ему детей, так называемых детей от неизвестного отца, созданных им, подобно тому, как создает это дерево, – почти бессознательно.

Если бы пришлось счесть всех женщин, которыми мы обладали, то мы очутились бы, не правда ли, в не меньшем затруднении, чем этот ракитник, случись ему перечислить свое потомство.

С восемнадцати и до сорока лет, если включить в счет все случайные встречи, все мимолетные связи, можно допустить, что у нас были... близкие отношения с двумя или тремя женщинами.

Ну, так уверены ли вы, друг мой, что вы не оплодотворили хотя бы одну из множества этих женщин и что у вас где-нибудь на улице или на каторге нет шалопая-сына, обкрадывающего и убивающего честных людей, то есть нас с вами, что у вас нет дочери, живущей в каком-либо притоне или – если ей повезло и она была покинута матерью – служащей кухаркой в какой-нибудь семье?

Подумайте также о том, что почти все женщины, именуемые нами публичными, имеют по одному, а то и по два ребенка, отца которых они не знают и которые были зачаты случайно, во время объятий, оплачиваемых десятью – двадцатью франками. Во всяком ремесле ведется счет прибылей и убытков. Эти отпрыски составляют убыток в профессии их матерей. Кто их отцы? Вы, я, мы все, так называемые порядочные люди! Это результаты наших бесшабашных дружеских обедов, наших веселых вечеров, тех часов, когда сытая плоть влечет нас к случайным связям.

Воры, бродяги – словом, все отверженные люди, в конце концов, – наши дети. И еще наше счастье, что не они наши отцы, потому

что ведь эти негодяи, в свою очередь, производят на свет детей!

Послушайте, лично у меня на совести очень скверная история, которую я вам расскажу. Для меня это источник непрерывных угрызений совести и, больше того, источник вечных сомнений и постоянной неуверенности, которые порою жестоко терзают меня. Мне было двадцать пять лет, когда я с одним из моих приятелей, ныне видным чиновником, предпринял путешествие пешком по Бретани.

После двух – трех недель непрерывной ходьбы, посетив Кот дю Нор и часть Финистера, мы прибыли в Дуарнене, оттуда в один переход достигли пустынного мыса Раз, переправившись через бухту Трепассе, и ночевали в какой-то деревушке, название которой кончалось на оф; когда настало утро, странное утомление удержало моего товарища в постели. Я говорю о постели по привычке, потому что на этот раз ложе наше состояло всего из двух вязанок соломы.

Хворать в таком месте невозможно. Поэтому я принудил его встать, и к четырем или пяти часам вечера мы пришли в Одиерн. На другой день ему стало немного лучше; мы снова пустились в путь; но дорогою он почувствовал сильное недомогание, и мы еле-еле добрались до Пон-Лаббе.

Там, по крайней мере, мы отыскивали трактир. Мой приятель слег, и доктор, вызванный из Кемпера, определил у него сильную лихорадку, хотя и не мог еще выяснить ее характер.

Знаете ли вы Пон-Лаббе? Нет? Ну, так это наиболее бретонский городок из всей этой бретоннейшей Бретани, которая тянется от мыса Раз до Морбигана, края, представляющего собою квинтэссенцию бретонских нравов, легенд и обычаев. Этот уголок нашей страны еще и поныне почти не изменился. Я говорю еще и поныне, так как езжу теперь туда, увы, ежегодно.

Старый замок купает подножия своих башен в волнах огромного печального-печального озера, над которым носятся дикие птицы. Из него вытекает река, по которой небольшие суда могут подниматься до самого города. По узким улицам со старинными домами расхаживают мужчины в широкополых шляпах, вышитых

жилетах и четырех куртках, надетых одна на другую: первая из них, величиною с ладонь, едва прикрывает их лопатки, а последняя спускается до самых штанов.

У девушек, высоких, красивых, свежих, грудь стиснута суконным жилетом в виде кирасы, не позволяющим даже рассмотреть их сильные шеи; они убирают волосы особенным образом: на висках два пестро вышитых круга обрамляют лицо, стягивают волосы, которые падают волной назад, а затем подбираются на макушке, головы под особый чепец, нередко затканый золотом или серебром.

Служанке нашего трактира было не более восемнадцати лет; ее голубые, светло-голубые глаза были пронизаны двумя черными точками зрачков, а мелкие, частые зубы, которые она, смеясь, беспрестанно показывала, казалось, были созданы для того, чтобы дробить гранит.

Она не знала ни слова по-французски и, как большинство ее земляков, говорила только по-бретонски.

Друг мой не поправлялся, и хотя у него не обнаружилось никакой болезни, врач пока запрещал ему продолжать путешествие, предписывая полный покой. Итак, я проводил целые дни у его постели, а маленькая служанка ежеминутно входила в нашу комнату, принося то обед для меня, то питье для больного.

Я слегка поддразнивал ее, что, по-видимому, ей нравилось, но мы, конечно, не разговаривали, так как не понимали друг друга.

Но вот однажды ночью, поздно засидевшись у постели больного, пробираясь в свою комнату, я встретился с молодой девушкой, идущей к себе. Это было как раз против моей открытой двери, и вдруг, не думая о том, что я делаю, скорее в шутку, чем всерьез, я обхватил ее талию и, прежде чем она опомнилась от изумления, втолкнул ее к себе и запер дверь. Она глядела на меня в испуге, обезумев от ужаса, не смея кричать из боязни скандала, из страха, сначала, по-видимому, перед хозяевами, а затем, быть может, и перед своим отцом.

Я сделал это смеха ради, но когда она очутилась в моей комнате, меня охватило желание обладать ею. То была долгая и молчаливая борьба, борьба телом к телу, на манер атлетов; наши руки были вытянуты, судорожно сжаты, перекручены, по коже

струился пот. О, она упорно защищалась; иногда мы наталкивались на перегородку, на стул или на какую-нибудь другую мебель; тогда, не разжимая объятий, мы замирали на несколько секунд, в страхе, как бы наш шум не разбудил кого-нибудь, а затем возобновляли свою ожесточенную борьбу: я нападал, она защищалась.

Наконец она упала в изнеможении; я овладел ею грубо, тут же на полу.

Едва встав, она кинулась к двери, отперла задвижку и убежала. В следующие дни я едва видел ее. Она не позволяла мне приблизиться к себе. Когда мой товарищ выздоровел и мы могли продолжать свое путешествие, накануне моего отъезда, в полночь, она пришла, босая, в одной рубашке, в мою комнату, куда я только что удалился.

Она бросилась ко мне, страстно обняла и затем до рассвета целовала меня, ласкала, плача, рыдая, доказывая мне свою любовь и отчаяние всеми средствами, которыми располагает женщина, не знающая ни слова на нашем языке.

Через неделю я уже позабыл об этом приключении, столь обыкновенном и частом в путешествиях; обычно ведь трактирные служанки и обречены на то, чтобы так развлекать путешественников.

Тридцать лет я не вспоминал об этом случае и не возвращался в Пон-Лаббе.

В 1876 году я вернулся туда случайно, во время прогулки по Бретани, когда я собирал материалы для своей книги и хотел хорошенько проникнуться пейзажами этой страны.

Ничто, казалось, не изменилось. Замок по-прежнему купал свои сероватые стены в водах озера при въезде в городок; и трактир был тот же, хотя и отделанный, подновленный, более отвечающий современным вкусам. При входе меня встретили две молодые бретонки лет по восемнадцати, свежие и миленькие, облеченные в броню своих суконных жилетов, в чепцах, расшитых серебром, с большими вышитыми кругами, закрывающими уши.

Было около шести часов вечера. Я сел за стол в ожидании обеда, и так как хозяин во что бы то ни стало захотел подавать мне самолично, какая-то роковая случайность заставила меня

спросить:

– Знали ли вы прежних хозяев этого дома? Я провел здесь несколько дней лет тридцать тому назад. Я говорю вам о далеком прошлом.

Он отвечал:

– То были мои родители, сударь.

Тогда я рассказал, при каких обстоятельствах я останавливался тут и как был задержан болезнью товарища. Он не дал мне закончить:

– О, отлично помню. Мне в то время было лет пятнадцать или шестнадцать. Ваша спальня была в глубине, а ваш друг спал в той комнате, где живу теперь я; она выходит на улицу.

Только тогда живо вспомнилась мне молоденькая служанка. Я спросил:

– А не помните ли вы хорошенькую служаночку, жившую тогда у вашего отца; если память мне не изменила, у нее были чудесные голубые глаза и белые зубы?

Он сказал:

– Да, сударь, она умерла от родов вскоре после вашего отъезда. И, протягивая руку по направлению к двору, где убирал навоз какой-то худощавый и хромой человек, он прибавил:

– Вот ее сын.

Я засмеялся.

– Ну, он неказист и совсем непохож на мать. Он, без сомнения, в отца.

Трактирщик сказал:

– Возможно, но кто его отец, так и осталось неизвестным. Она умерла, не сказав этого, а здесь никто не знал ее любовника. Все были прямо-таки поражены, когда выяснилось, что она беременна. Никто не хотел верить этому.

Меня охватила неприятная дрожь, и я испытал словно какое-то тягостное прикосновение к сердцу, как бывает в предчувствии большого горя. Я взглянул на человека во дворе. Он только что зачерпнул воды для лошадей и нес, прихрамывая, два ведра, мучительно припадая на более короткую ногу. Он был в лохмотьях и отвратительно грязен; его длинные желтые волосы так сбились, что спадали ему на щеки наподобие веревок.

Трактирщик прибавил:

– Он ни на что не годен, его оставили в доме из жалости. Быть может, он вышел бы и лучше, если бы воспитывался, как все. Но что прикажете, сударь? Ни отца, ни матери, ни денег! Мои родители жалели ребенка, но, понятно, он был им не родной.

Я промолчал.

Я лег спать в своей прежней комнате и всю ночь думал об этом ужасном конюхе, повторяя: «А что, однако, если это мой сын? Неужели же я мог убить эту девушку и породить такое существо?» В конце концов ведь это было возможно!

Я решил поговорить с этим человеком и узнать точно день его рождения. Разница в двух месяцах рассеяла бы мои сомнения.

На другой день я позвал его. Но он также ни слова не говорил французски. Вдобавок, у него был такой вид, как будто он вообще ничего не понимал. Он совершенно не знал, сколько ему лет, когда одна из служанок спросила его об этом по моей просьбе. Он стоял передо мной с идиотским видом, мял шляпу своими отвратительными узловатыми лапами и бессмысленно смеялся, но в уголках его глаз и губ было что-то от смеха матери.

Подоспевший хозяин отыскал метрику несчастного. Он родился восемь месяцев и двадцать шесть дней спустя после моего пребывания в Пон-Лаббе, так как я хорошо помнил, что приехал в Лориан пятнадцатого августа. В бумаге была пометка: «Отец неизвестен». Мать звали Жанной Керрадек.

Сердце мое теперь учащенно билось. Я не мог больше говорить, до того я задыхался; я смотрел на этого зверя, длинные желтые волосы которого казались грязнее подстилки для скота; смущенный моим взглядом оборванец перестал смеяться, отвернулся и поспешил уйти.

Весь день пробродил я вдоль речки, горестно размышляя. Но к чему было размышлять? Я ничего не мог решить. В течение нескольких часов взвешивал я все доводы за и против моего отцовства, мучая себя бесплодными предположениями и снова возвращаясь к той же ужасной неуверенности или к еще более ужасному убеждению, что этот человек был моим сыном.

Я не мог обедать и ушел в свою комнату. Мне долго не удавалось

заснуть; наконец сон пришел; это был сон, полный невыносимых видений. Я видел этого неряху, смеявшегося мне в лицо и называвшего меня «папа», затем он превратился в собаку, кусал меня за икры, и, куда бы я ни убегал, он всюду следовал за мной, но, вместо того, чтобы лаять, осыпал меня бранью; потом он появился перед моими коллегами по академии, собравшимися, чтобы решить вопрос, был ли я его отцом, один из них восклицал: «Это не подлежит сомнению! Взгляните же, как он похож на него». В самом деле, я замечал, что это чудовище было похоже на меня. Я проснулся с этой мыслью, плотно засевшей у меня в голове, с безумным желанием снова увидеть этого человека и решить, действительно ли мы похожи друг на друга. Я догнал его, когда он шел к мессе (было воскресенье), и дал ему сто су, боязливо взглянув на него. Он снова противно засмеялся, взял деньги и, опять смущенный моим взглядом, убежал, пробурчав непонятное слово, которое, наверно, должно было означать «благодарю».

День прошел для меня в такой же тоске, как и накануне. К вечеру я позвал трактирщика и, прибегая к ловкости и хитрости, сказал ему, со множеством предосторожностей, что заинтересовался этим несчастным существом, столь заброшенным всеми и всего лишенным, и что мне хотелось бы что-нибудь для него сделать.

Но хозяин возразил:

– Ах, бросьте эту мысль, сударь, он ни к чему не годен, и вы не оберетесь с ним неприятностей. Я заставляю его чистить конюшню, и это единственное, на что он способен. За это я его кормлю, а спит он вместе с лошадьми. Больше ему ничего и не надо. Если у вас есть старые штаны, отдайте их ему, но уже через неделю они превратятся в лохмотья.

Я не настаивал, решив подумать.

Калека вернулся к вечеру вдребезги пьяный, чуть не устроил пожар в доме, заступом покалечил лошадь и в довершение всего уснул в грязи под дождем, по милости моих щедрот.

На другой день меня попросили не давать ему больше денег. Водка делала его безумным, и едва только в кармане у него заводились два су, он их пропивал. Трактирщик прибавил:

«Давать ему деньги – значит желать ему смерти». У конюха их никогда не было, совершенно никогда, если не считать нескольких сантимов, брошенных ему путешественниками, и он не знал иного назначения для этого металла, кроме кабака.

После этого разговора я стал проводить целые часы в своей комнате, с открытой книгой в руках, притворяясь, будто читаю, на самом же деле только и разглядывая это животное – моего сына! моего сына! – и стремясь отыскать в нем какое-нибудь сходство с собой. В конце концов мне почудилось что-то общее в линиях лба и в основании носа, и вскоре я был убежден в существовании сходства между нами, которое не бросалось в глаза только из-за костюма и отвратительной гривы этого человека.

Но я не мог оставаться более, не возбуждая подозрения, и уехал с сокрушенным сердцем, оставив трактирщику немного денег, чтобы несколько скрасить тяжелую жизнь его конюха.

И вот уже шесть лет, как я живу с этой мыслью, в этой ужасной неуверенности, с этим отвратительным сомнением. И ежегодно неодолимая сила влечет меня снова в Пон-Лаббе. Каждый год я сам осуждаю себя на пытку – смотреть, как это животное шлепает по навозу, воображать, что он на меня похож, изыскивать – и постоянно бесплодно – способы быть ему полезным. И каждый год я возвращаюсь оттуда еще более измученный сомнениями и тревогой.

Я попробовал было его обучать. Он – безнадежный идиот.

Я пытался несколько облегчить ему жизнь. Он неисправимый пьяница и пропивает все, что ему дают; кроме того, он очень хорошо умеет продавать свое новое платье, чтобы раздобыть себе водки.

Я попробовал разжалобить его хозяина с тем, чтобы он проявлял больше заботы о своем конюхе, и постоянно предлагал ему для этого денег. Трактирщик в конце концов весьма разумно ответил мне:

– Все, что бы вы ни сделали для него, сударь, поведет лишь к его гибели. С ним нужно обращаться, как с арестантом. Как только у него бывает свободное время или заведутся деньги, он становится опасным. Если вы желаете делать добро, то поищите –

в покинутых детях нет недостатка, – но выберите такого, который оправдал бы ваши заботы.

Что было сказать на это?

Если бы я допустил, чтобы те сомнения, которые меня терзали, сделались подозрительными в глазах окружающих, этот кретин, разумеется, употребил бы всю свою хитрость, чтобы эксплуатировать меня, осрамить и погубить. Он кричал бы мне «папа», как в моем кошмаре.

И я признался себе в том, что убил мать и погубил это чахлое существо, конюшенную личинку, выросшую и сформировавшуюся на навозе, этого человека, который, будучи воспитан, как другие, стал бы не хуже их.

Вы и представить себе не можете того странного, смутного и невыносимого чувства, которое я испытываю перед ним, думая о том, что он плоть от плоти моей, что он связан со мной тесными узами, соединяющими сына с отцом, что, в силу ужасных законов наследственности, он является мной по тысяче причин и что у него со мной те же зародыши болезней, те же ферменты страстей. Меня непрестанно мучает болезненная, неутолимая потребность видеть его, а его вид заставляет меня невыразимо страдать; из своего окна в гостинице я целыми часами смотрю, как он переворачивает и возит кончий навоз, и твержу себе:

– Это мой сын!

И порою я испытываю нестерпимое желание поцеловать его. Но я никогда даже не дотронулся до его грязной руки.

Академик умолк, а его собеседник, политический деятель, прошептал:

– Да, действительно, мы должны бы немного больше интересоваться детьми, у которых нет отцов.

Промчался порыв ветра, ракитник шевельнул своими желтыми гроздьями и окутал тонким и благоуханным облаком обоих стариков, вдохнувший его всей грудью.

И сенатор добавил:

– А все-таки хорошо иметь двадцать пять лет и производить детей... даже таких.

* * *

Напечатано в «Жиль Блас» 19 апреля 1882 года под заглавием «Неизвестный отец» («Pere inconnu») и за псевдонимом Мофриньёз. Для книги Мопассан несколько сократил эту новеллу.

Рене Мезруа (1856 – 1918) – псевдоним французского литератора, барона Туссена, автора ряда салонно-эротических романов. Мопассан написал несколько предисловий к книгам Мезруа.

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 2. МП «Аурика», 1994

Перевод А.Н. Чеботаревской. Некаýalar